

Первая глава

Севастьян Найт родился тридцать первого декабря 1899 года в бывшей столице моего отечества. Одна пожилая русская дама, которая по какой-то неведомой причине просила меня не открывать ее имени, как-то раз в Париже показала мне свой старый дневник. До того были, наверное, бедны событиями те годы, что накапливание ежедневных подробностей — что обычно бывает ненадежным способом самосохранения — сводилось к краткому описанию погоды за прошедший день; и тут любопытно отметить, что частные дневники коронованных особ большею частью бывают посвящены тому же предмету, каким бы невзгодам ни подвергались их владения. Случается, что везет, когда удачу не подстегиваешь, и то, что мне было показано, я сам ни за что бы не нашел, хоть бы нарочно пустился на розыски. А так могу сообщить, что утро, в которое Севастьян родился, было ясное и безветренное, что было двенадцать градусов мороза (по Реомюру)... впрочем, это и все, что добрая старушка нашла достой-

ным записи. Собственно, не вижу причины сохранять ее имя в тайне — совершенно ведь невероятно, чтобы она когда-нибудь прочитала эту книгу. Ее звали, и продолжают звать, Ольгой Олеговной Орловой, и было бы жалко утаить эту овалообразную аллитерацию.

Не странствовавшему читателю сухой ее рапорт не передаст скрытой, но угадываемой прелести такого вот зимнего дня в Петербурге: чистая роскошь безоблачного неба, предназначенного не тело согреть, а только радовать зрение; по просторным улицам — блестящие колеи от санных полозьев на твердом насте, с тянущимся посередине изжелта-рыжим следом жирного конского навоза; связка ярких, разноцветных воздушных шаров, которыми торгует разносчик в фартуке; нежный очерк соборного купола, золото которого потускнело от морозной пыли; березы в городских садах, у которых каждая веточка обведена белилами; скрежет и звонки зимнего уличного движения... и, кстати сказать, как странно, рассматривая старую видовую открытку (вроде той, что я поместил у себя на столе, чтобы на время занять младенца памяти), замечать, что русские извозчики поворачивали без всякого порядка, когда, где и как им вздумается, так что вместо прямолинейного, дисциплинированного потока современного транспорта видишь на этой раскрашенной фотографии широченную как во сне улицу, где дрожки бегут во всех направлениях под немислимо синим небом, краю которого машинально сообщается розовость трафаретного воспоминания.

Мне не удалось раздобыть снимка дома, где родился Севастьян, но я хорошо его помню, потому что и сам там родился шестью годами позже. У нас был общий отец, вторично женившийся вскоре после развода с матерью Севастьяна. Как ни странно, этот второй брак совсем не упомянут в книге Гудмана «Трагедия Севастьяна Найта» (вышедшей в 1936 году; мне еще придется подробнее на ней остановиться), так что для читателей книги Гудмана меня не существует, я какой-то вымышленный родственник, словоохотливый самозванец. Но сам Севастьян в самом автобиографическом своем сочинении («Забутые вещи») уделяет несколько добрых слов моей матушке, — и, полагаю, она их вполне заслужила. Не совсем верно и то, что, как писали британские газеты после смерти Севастьяна, его отец был убит на поединке в 1913 году; на самом деле он явно оправлялся от пулевого ранения в грудь и только через месяц схватил простуду, с которой его недолеченные легкие справиться не могли.

Храбрый воин, добросердечный, остроумный, веселого нрава человек, он в избытке обладал свойством азартной непоседливости, которая по наследству перекочевала в писания Севастьяна. Передают, что этой зимой на литературном завтраке в Южном Кенсингтоне один известный старый критик, которого я всегда уважал за его блестящий ум и эрудицию, заметил, когда разговор запорхал вокруг безвременной смерти Севастьяна: «Бедный Найт! В сущности, у него было два периода: сначала скучный человек писал на ломаном английском, а потом надлом-

ленный человек стал писать скучным слогом». Злая острота, злая тем более, что легко наговаривать на мертвого писателя за спиной его книг. Хочется верить, что воспоминание об этой шутке не доставляет радости шутнику, который обнаружил гораздо больше сдержанности, когда несколько лет тому назад рецензировал книгу Севастьяна Найта.

Тем не менее нельзя не признать, что в некотором отношении жизнь Севастьяна, хотя и далеко не скучная, была лишена колоссальной энергии его литературного стиля. Всякий раз, что я открываю какую-нибудь его книгу, я будто вижу порывисто входящего в комнату отца, с его особенной манерой распахивать настежь двери и немедленно хватать нужную вещь или любимое существо. Мое первое воспоминание о нем неизменно одно, дух захватывающее: я взмываю с пола, не выпуская из руки свисающей половины игрушечного поезда, и моя голова оказывается в опасной близости к хрустальным подвескам люстры. Он со стуком ставил меня наземь так же внезапно, как подхватывал, или как проза Севастьяна внезапно сшибает читателя с ног, роняя его, потрясенного, в веселую бездну следующего сумасшедшего пассажа. К тому же иные из любимых отцовских острот цветут причудливым цветом в таких характерных Найтовых вещах, как «Альбинос в черном» или «Веселая гора», быть может, лучшим из его рассказов, прекрасном и удивительном и всегда напоминающем мне смеющегося во сне ребенка.

Мой отец, тогда молодой кавалергард, познакомился с Виргинией Найт во время отпуска за грани-

цей, если не ошибаюсь, в Италии. Их первая встреча была как-то связана с охотой на лисиц в Риме в начале девяностых годов, но не могу сказать, матушка ли моя говорила мне об этом, или я безотчетно припоминаю какой-то тусклый снимок из семейного альбома. Он долго за ней ухаживал. Она была дочь Эдуарда Найта, человека богатого и достойного; больше мне ничего о нем не известно, но, судя по тому, что моя строгая и своенравная бабушка (помню ее веер, митенки, ее холодные белые пальцы) решительно противилась этому браку и, случалось, повторяла весь перечень своих возражений даже тогда, когда отец уже был женат в другой раз, я склонен заключить, что род Найтов (какой бы уж он там ни был) не совсем отвечал требованиям (что бы под этим ни подразумевалось) старой русской знати. Не уверен я и в том, что первый брак отца не противоречил каким-то образом уставу его полка; так или иначе, успех на военном поприще пришел к нему только во время японской войны, то есть уже после того, как жена оставила его.

Я потерял отца еще мальчиком, и только много позднее, в 1922 году, за несколько месяцев до своей последней, предсмертной операции, мать рассказала мне кое-что из того, что, по ее мнению, мне следовало знать. Отец мой не был счастлив в первом браке. То была странная женщина, беспокойное и беспечное существо, — но беспокойство это было другого, не отцовского рода. Он постоянно чего-то добивался и менял предмет своих усилий, только достигнув желаемого. Она же двигалась неуверенно, взбалмошно и непоследовательно, то уклоняясь далеко в сторону

от своей цели, то на полпути забывая о ней, как забывают зонтик в таксомоторе. Она по-своему была привязана к отцу — хотя это «по-своему» было весьма своеобразно, мягко говоря, — и когда однажды ей пришло в голову, что она влюблена в другого (его имени отец так никогда от нее и не узнал), она бросила мужа и ребенка так же внезапно, как дождевая капля начинает катиться к кончику листа сирени. Этот вздрог покинутого листа, лишившегося своего сверкающего бременя, наверное, причинил отцу острую боль, и мне не хочется задерживаться воображением на том дне, когда в парижской гостинице за четырехлетним Севастьяном рассеянно присматривала недоумевающая няня, а отец заперся у себя в комнате, «в том особенном гостиничном номере, который так прекрасно подходит для постановки самых плохих трагедий: мертвые бронзовые часы (нафабранные усы двух часов без десяти минут) под стеклянным колпаком на зловещем камине, венецианское окно, и муха, без толку мечущаяся меж кисеей и стеклом, образчик гостиничной писчей бумаги на выдавшем виды бюваре». Это из «Альбиноса в черном», фабула которого не имеет никакого отношения к этому именно несчастью, но в котором сохранилось дальнейшее воспоминание о детской тревоге на унылом отельном ковре, когда тебе нечего делать и время до странного раздается вширь, сбивается с пути, заваливается...

Война на Дальнем Востоке доставила отцу возможность той счастливой деятельности, которая помогла ему если не забыть Виргинию, то по крайней мере вернуть жизни смысл. Его напористый эго-

изм был всего лишь формой мужественной энергии и оттого вполне соответствовал его щедрой по своей сути натуре. Должно быть, он считал постоянное уныние, не говоря уже о самоуничтожении, недостойным занятием, позорной капитуляцией. Когда в 1905 году он опять женился, ему, наверное, приятно было сознавать, что из поединка с судьбой он вышел победителем.

Виргиния объявилась снова в 1908 году. Она была неисправимой путешественницей, вечно в разъездах, и жила как у себя дома и в маленьком пансионе, и в дорогой гостинице, так что понятие дома у нее означало уют постоянных перемен. От нее Севастьян перенял эту странную, чуть ли не романтическую любовь к спальным вагонам и Большим Европейским Экспрессам, к «поскрипыванью обшитых полированным деревом стен, ночью, под синим колпаком; к протяжному вздоху тормазов на едва угадываемых станциях; к скользящей вверх кожаной с тиснением шторке, открывающей вид на платформу, на человека, везущего чемоданы на тележке, на молочный шар газового фонаря, с мечущейся вокруг него бледной ночной бабочкой; к лязгу невидимого молотка, проверяющего колеса; к плавному троганию с места в темноту; к промелькнувшему образу одинокой женщины, перебирающей серебристые вещицы в дорожном несессере на синем бархате освещенного купэ».

Она приехала Норд-Экспрессом в зимний день, без всякого предупреждения, и послала короткую записку с просьбой о свидании с сыном. Отец охо-

тился на медведей в деревне, поэтому матушка без дальних слов отвела Севастьяна в «Европейскую», где Виргиния остановилась всего на один вечер. Там, в холле, она и увидела первую жену своего мужа, худенькую, угловатую женщину с маленьким подвижным лицом под огромной черной шляпой. Она подняла вуальку выше губ, чтобы поцеловать мальчика, и не успела прикоснуться к нему, как расплакалась, будто теплый висок Севастьяна был вместе источником и утешением ее горя. После чего она тотчас надела перчатки и принялась рассказывать моей матери на дурном французском нелепую и никчемную историю о какой-то польке, которая пыталась украсть в вагоне-ресторане ее сумочку с косметическими принадлежностями. Потом она сунула в руку Севастьяна фунтик засахаренных фиалок, улыбнулась моей матушке нервной улыбкой и пошла за швейцаром, выносившим ее чемоданы. Тем все и кончилось, а в следующем году она умерла.

От ее двоюродного брата Г.Ф. Стайнтонна узнали, что в последние месяцы жизни она изъездила всю Южную Францию, останавливаясь на день-другой в знойных захолустных городках, которые редко навещают туристы, — неприкаянная, одинокая (любовника своего она бросила) и, вероятно, очень несчастная. Можно было подумать, что она от кого-то или от чего-то бежала, ибо она возвращалась по своему же следу или запутывала следы; с другой же стороны, тем, кто знал ее нрав, это суматошное метание могло показаться чрезмерным последним проявлением свойственной ей охоты к перемене мест. Она

умерла от сердечного припадка (болезнь Лемана)¹ летом 1909 года, в городишке Рокбрюн. Тело не без осложнений было переправлено в Англию; родственники ее все умерли еще прежде, и только г. Стайнтон присутствовал на ее похоронах в Лондоне.

Родители мои жили счастливо. Это был тихий и нежный союз, которого не могло омрачить злое речие иных наших родственников, нашептывавших, что отец, хотя и был любящим мужем, время от времени увлекался другими женщинами. Раз как-то под Рождество 1912 года одна его чрезвычайно милая подруга легкомысленно обмолвилась, когда они шли по Невскому, что жених ее сестры, некто Пальчин, знал его первую жену. Отец сказал, что помнит его, они познакомились в Биаррице не то за десять, не то за девять лет перед тем...

— Да, но он и потом с ней встречался, — сказала она. — Он признался сестре, что жил с Виргинией после того, как вы расстались... Она потом бросила его где-то в Швейцарии... Забавно, что никто об этом не догадывался.

— Что же, — спокойно сказал отец, — коли это не вышло наружу прежде, незачем болтать об этом спустя десять лет.

По весьма несчастливому стечению обстоятельств на другой же день после этого капитан

1 Так называемый синдром Лемана (Lehman) относится скорее к невропатологии, чем к кардиологии, но у Набокова в напечатанном виде этот Леман не француз, а немец (Lehmann), м.б. вымышленный (рукописи этого и следующего места, где эта болезнь упоминается в 9-й главе, не сохранилось).

Белов, близкий друг нашей семьи, между прочим спросил отца, верно ли, что его первая жена родом из Австралии, — он, т. е. капитан, всегда считал ее англичанкой. Отец отвечал, что, сколько он знает, ее родители одно время жили в Мельбурне, но что она родилась в Кенте.

— Но отчего ты спрашиваешь? — прибавил он. Капитан отвечал уклончиво, что его жена была на каком-то рауте, где кто-то что-то сказал...

— Очевидно, придется положить этому конец, — сказал отец.

Наутро он посетил Пальчина, который принял его радушнее, чем того требовали приличия. Он сказал, что прожил много лет в чужих краях и рад возобновить старые знакомства.

— В обществе распускают грязную ложь, — сказал отец, не садясь. — Полагаю, вы знаете, о чем идет речь.

— Послушайте, мой милый, — сказал Пальчин, — мне незачем притворяться, что я не вижу, куда вы клоните. Сожалею, что это сделалось предметом толков, но не станем же из-за этого горячиться... Никто ведь не виноват в том, что у нас с вами когда-то было немало общего...

— В таком случае, милостивый государь, — сказал отец, — я пришлю к вам моих секундантов.

Из рассказа матушки (приобретшего в ее изложении непосредственную живость, которую я здесь пытаюсь сохранить) мне было ясно, что Пальчин был негодяй и дурак. Но именно оттого, что Пальчин был дурак и негодяй, мне трудно понять, как

мог человек таких достоинств, какими обладал мой отец, рисковать жизнью, чтобы удовлетворить — и что же? задетую честь Виргинии? свою жажду мести? Но так же как честь Виргинии была безвозвратно потеряна самим фактом ее побега, всякая мысль о мщении должна была давно утратить свою горькую усладу за годы счастливого второго брака. Но, может быть, тут важно было просто названное имя, увиденное лицо, неожиданно фарсовый отпечаток чего-то личного на призраке, бывшем прежде ручным и безликим? И в конечном счете стоил ли этот отзвук далекого прошлого (а эхо чаще всего отзывается лаем, каким бы чистым ни был голос кличущего) того несчастья, которое он принес в наш дом, и горя, которое он причинил моей матери?

Стрелялись в метель на берегу замерзшей речки. Они обменялись выстрелами, и отец упал ничком на серо-голубую армейскую шинель, разостланную на снегу. Пальчин дрожащими руками закурил папиросу. Капитан Белов подозвал кучеров, смиренно дожидавшихся в отдалении на заснеженном тракте. Все это страшное дело заняло три минуты. В «Забытых вещах» есть собственные впечатления Севастьяна о том черном январском дне. «Ни моя мачеха, — пишет он, — ни кто из домашних не знали о надвигавшемся событии. Накануне за обедом отец бросал в меня через стол хлебные катыши: я целый день дулся оттого, что доктор велел мне носить какую-то мерзкую шерстяную фуфайку, и отец пытался меня развеселить, но я нахмурился, покраснел и отвернулся. После обеда мы сидели в его кабинете; он пил свой кофе

и слушал мачеху, которая говорила о вредном обычае француженки давать моему младшему сводному брату конфеты в постель; я же сидел на диване в дальнем углу комнаты и листал «Чамз»¹: «Ждите следующей главы этой сногшибательной истории». Шутки, напечатанные внизу больших, тонких страниц. «Почетного гостя, которому показывали школу, спрашивают: Что поразило вас сильнее всего? — Горошина, которой в меня выстрелили из трубочки». Курьерские поезда, с грохотом мчащиеся в ночной тьме. Игрок голубой крикетной команды², который отразил нож, брошенный свирепым малайцем в его друга... *Уморительная* серия комических картинок, изображавших трех подростков, один из которых был гуттаперчевый мальчик, умевший вращать носом, другой фокусник, а третий чревовещатель... Всадник, перескакивающий через гоночный автомобиль...

На другое утро в школе я никак не мог справиться с геометрической задачей, на гимназическом языке именуемой «пифагоровыми штанами». Утро было такое темное, что в классной зажгли свет, отчего у меня всегда начинало ужасно звенеть в голове. Я пришел домой около половины четвертого с тем ощущением нечистоты, с которым всегда возвращался из школы и которое теперь еще усугублялось колючим бельем. В передней рыдал денщик отца.

1 «Однокашники» — английский журнал для мальчиков, выходивший в 1892–1941 гг.

2 Лучшие университетские спортсмены могли одеваться в цвета своего заведения (темно-синий в Оксфорде, голубой в Кембридже).